

Ольга Скачкова

Балтийская международная академия, Рига

ГОГОЛЬ И КОТ

Однажды Николай Васильевич Гоголь сделал другу детства, Григорию Петровичу Данилевскому, следующее признание:

Было мне лет пять. Я сидел один в Васильевке. Отец и мать ушли. Оставалась со мною одна старуха няня, да и она куда-то отлучилась. Спускались сумерки. Я прижался к уголку дивана и среди полной тишины прислушивался к стуку длинного маятника старинных стенных часов. В ушах шумело, что-то надвигалось и уходило куда-то. Верите ли, — мне тогда уже казалось, что стук маятника был стуком времени, уходящего в вечность. Вдруг слабое мяуканье кошки нарушило тяготивший меня покой. Я видел, как она, мяукая, осторожно кралась ко мне. Я никогда не забуду, как она шла, потягиваясь, а мягкие лапы слабо постукивали о половицы когтями, и зеленые глаза искрились недобрим светом. Мне стало жутко. Я вскарабкался на диван и прижался к стене. „Киса, киса”, — пробормотал я и, желая ободрить себя, соскочил и, схватив кошку, легко отдавшуюся мне в руки, побежал в сад, где бросил ее в пруд и несколько раз, когда она старалась выплыть и выйти на берег, отталкивал ее шестом. Мне было страшно, я дрожал, а в то же время чувствовал какое-то удовлетворение, может быть, месть за то, что она меня напугала. Но когда она утонула, и последние круги по воде разбежались — водворились полный покой и тишина — мне вдруг стало ужасно жалко «кисы». Я почувствовал угрызения совести. Мне казалось, что я утопил человека. Я страшно плакал и успокоился только тогда, когда отец, которому я признался в поступке своем, меня высек (Вересаев 1995, с. 7).

Этот рассказ производит сегодня более удручающее впечатление, чем 170 лет назад, потому что «партийные» пристрастия не мешают теперешним читателям пристально рассматривать гениев прошлого, а культура и нация, которым принадлежат гоголевские сочинения, пережили за два века такие перемены, открыли столько низких и высоких истин, что новый взгляд неизбежен. Нас интересует следующее — зачем Гоголь расказал эту историю? Об этом детском преступлении никому, кроме него, не было известно. Какой реакции он ожидал от

слушателя? Удивления, отвращения, сочувствия? Просил о помощи? Каялся? Чтобы понять его побуждения, ответим, сначала на более простой вопрос — зачем он это с д е л а л?

Самоочевидный и верный ответ — потому что испугался. Хотя он тут же рождает сомнение — разве всякий ребенок испытывает страх при виде кошки, собаки, ящерицы и прочих зверей? Вероятно, этот страх внушен ему взрослыми, видящими в животных могущественных врагов, агентов какой-то зловещей силы. Это какой-то средневековый взгляд, может сказать современный читатель, но это именно так — духовная атмосфера детства Гоголя поражает своей первобытной непросвещенностью, которую никак не в состоянии скорректировать то обстоятельство, что Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский увлекался сочинительством и часто гостил в имении Дмитрия Прокофьевича Трощинского, А ф и н а х М а л о р о с с и и. Его сын рос среди женщин с кругозором Коробочки, веривших в нечистую силу, притаившуюся за каждым углом, в частности — в облике обманчиво прелестного зверька — кошки.

Мир людей всегда соседствовал с миром зверей, их отношения менялись и это — часть эволюции нашей цивилизации, возможно, самая важная, хотя еще не до конца осознанная. На первых ступенях человеческой истории мифологические Коты были божественными персонажами высшего уровня (Египет), героями-змеборцами (литовский, латышский и восточнославянский фольклор). Одновременно с этим, в низшей мифологии разных народов, от индейцев кечуа до японцев, кот выступал как воплощение злого духа (Топоров 1992, с. 11).

Очевидно, на этом этапе коты еще принадлежали миру дикой природы и не вступали с человеком в более прагматические отношения. После того, как египтянам удалось одомашнить котов, создав им всяческие удобства и продемонстрировав выгоду сотрудничества, эти ловкие охотники — спасители урожаев — стали желанными домочадцами во всем Средиземноморье. Греки тайно вывозили драгоценных зверьков из Египта, включили их в свою мифологию — кошки стали спутницами двух грозных богинь, Артемиды и Гекаты. В Риме их ценили не только за пользу, приносимую хозяйству, но и за независимый нрав: Тиберий Гракх построил храм в честь богини Свободы, у подножия статуи которой сидела кошка — ее символ (Marks с. 13–52). Вместе с римлянами кошки прибыли на Британские острова и очень быстро стали полноправными гражданами этой будущей родины демократии: уже в 948 году в законодательных актах валлийского короля Гайвел Дда (Hywel Dda) устанавливается официальная цена за кошку, полезную собственность, и наказание для тех, кто на нее покусится (Loxton 1998, с. 24–38).

Восток еще более открыт «кошачьему влиянию»: существует предание, что первую кошку создал Будда, чтобы одолеть крысиное нашествие, и запретил обижать котов. Другая легенда рассказывает, как пророк Мухаммед отрезал рукав у своей рубашки, не желая будить заснувшую на рукаве кошку. Китайцы и японцы видят в кошках приветливых духов домашнего очага. Внутри раннехристианской апокрифической традиции существует рассказ о том, как Христос вступился за кошку, которую мучила толпа бездельников на деревенской улице, сказав: «Эту землю, созданную моим Отцом для радости и веселья, вы превратили своей жестокостью и насилием в самый отвратительный ад». В этом же источнике сообщается, что кошка с выводком котят присутствовала в Вифлеемских яслях при рождении Спасителя (в канонических евангелиях кошка этой чести не удостоена). Гностики поставили Кота стражем Древа Жизни в Эдеме, потому что он обладает бесконечным знанием о добре и зле (Loxton 1998, с. 67–89).

Однако в XV веке начались массовые преследования котов в Европе. Папа Иннокентий VIII, подобно Великому Инквизитору видевший угрозу христианству в любом проявлении жизни, объявил всех котов и их владельцев тайными служителями языческих культов. За три века в кострах сгорели, вместе с их зверолюбивыми хозяевами, миллионы маленьких хвостатых «язычников». Затем политика церкви изменилась под давлением реальности, которая вернула котам их статус уважаемых сотрудников: коты служили в английском флоте — на складах и судах — а также в больницах и музеях (Loxton 1998, с. 42–46). В Кунсткамере в Санкт-Петербурге коты появились после того, как Петр I в Англии ознакомился с результатами их «работы». Позднее они заняли соответствующие должности в Эрмитаже, где и поныне спасают египетские мумии и «малых голландцев» от грызунов.

Но среда, в которой рос мальчик-Гоголь, весьма мало была охвачена духом просвещения и европеизации, оставаясь агрессивно ограниченной и жестокой.

В первобытные времена человек убивал ради того, чтобы добыть еду или выжить. Знакомые, соседи, родственники Гоголей убивали животных не по необходимости, а чтобы заполнить пустое пространство своих дней: мужчины охотились, демонстрируя «удаль», или, разводили во множестве домашний скот, который стараниями женщин превращался в разнообразную снедь, возбуждающую аппетит их отнюдь не голодных домочадцев и пожираемую в невероятных количествах — так бесконечно жуют старички Товстогубы, потому что это их единственное занятие и единственная известная им форма удовольствия. Если они пытаются разговаривать (когда-то именно эта способность выделила приматов из животного мира), получается следующая «беседа»:

У Пульхерии Ивановны была серенькая кошечка [...]. Нельзя сказать, чтобы Пульхерия Ивановна слишком любила ее, но просто привязалась к ней, привыкнув ее всегда видеть. Афанасий Иванович, однако ж, часто подшучивал над такой привязанностью:

— Я не знаю, Пульхерия Ивановна, что вы такого находите в кошке. На что она? Если бы вы имели собаку, тогда бы другое дело: собаку можно взять на охоту, а кошка на что?

— Уж молчите, Афанасий Иванович, — говорила Пульхерия Ивановна, — вы любите только говорить, и больше ничего. Собака нечистоплотна, собака нагадит, собака перебьет все, а кошка тихое творение, она никому не сделает зла.

Впрочем, Афанасию Ивановичу было все равно, что кошки, что собаки; он для того только говорил так, чтобы немножко пошутить над Пульхерией Ивановной (Гоголь 1983, т. 2, с. 27–28).

Разговор, как видим, так же «ужасно беден» содержанием, как биография Гоголя событиями (Терц 2001, с. 8): в ней нет друзей, любимых женщин, домашних животных, словно писатель уклонялся от любых форм контакта с людьми, кроме самых неизбежных. Да и мог ли жить по-иному человек «родом» из такого детства, где все живые существа — или еда, или враги, где все отношения с прекрасным, большим миром сводятся к тарелке и страхам, порожденным невежеством? Об удивительной жестокости этого окружения свидетельствует, например, такая запись в хозяйственной тетрадке матери Гоголя:

Как тушить пламя загоревшейся в трубе сажи? Смотря по устройству и ширине трубы, надобно пожертвовать гусем, уткой или курицей, которую с верхнего отверстия трубы бросают вниз. Птица, падая вниз, старается удержаться и крыльями будет сбивать горящую сажу (Золотусский 2009, с. 6).

С хладнокровием инквизитора Марья Ивановна подвергает животное мучительной смерти, не сомневаясь в своем праве пожертвовать его жизнью ради собственного удобства — ведь заранее почистить трубу, очевидно, то ли лень, то ли слишком хлопотно. В этой семье детей не учили любить животных, потому что в ней вообще было мало любви. Родители нередко уезжали в гости к Трощинскому — это было лестное знакомство — а дети оставались на руках прислуги, часто болели, плохо развивались: Николай начал говорить в три года, его младший брат Иван (умерший в девятилетнем возрасте), по воспоминаниям Гоголя, всегда пребывал в полусонном состоянии. Сестры выросли нескладными дикарками, которых Гоголь стыдился показывать своим петербургским и московским знакомым. В его письмах к матери нередко проскальзывают скрытые упреки:

Детство мое донныне часто представляется мне. Вы употребляли все усилия воспитать меня как можно лучше. Но, к несчастью, родители редко бывают

хорошими воспитателями детей своих. Вы были тогда еще молоды, в первый раз имели детей; в первый раз имели с ними обращение и так могли ли вы знать, как именно должно поступать, что именно нужно? [...] Я помню: я ничего в детстве сильно не чувствовал, я глядел на все, как вещи, созданные для того, чтобы угождать мне. Никого особенно не любил, выключая только вас, и то только потому, что сама натура вдохнула это чувство. На все глядел я бесстрастными глазами; я ходил в церковь, потому что мне приказывали или носили меня; но стоя в ней, я ничего не видел, кроме риз попа [...] (Вересаев 1995, с. 12).

Гоголь придушен с первых дней жизни пуповиной своего темного мира. Бездуховность среды, в которой прошло его детство, и которую он в дальнейшем переименовал в «идиллию», превратила его в П о с т о р о н н е г о. Справедливости ради отметим, что история рода Гоголей-Яновских свидетельствует о серьезном психическом неблагополучии (Вересаев 1995, с. 16–20). Но если сегодня поколения «нервных» предков служат некоторым оправданием странным поступкам, то во времена Гоголя это не могло считаться индульгенцией, и Николай Васильевич всерьез предпринял попытку перейти из мира Товстогубов в мир Пушкиных, от фольклорных суеверий — к Вольтеру.

В житейском плане это ему не удалось: он был приветливо принят писателями пушкинского круга, его дар получал подобающую оценку и поддержку, но «нашим» (так Гоголь называет Александра Сергеевича Пушкина и его друзей в письмах к матери) он в этом кругу не стал. Историю отношений Гоголя с Петром Александровичем Плетневым, Петром Андреевичем Вяземским, Василием Андреевичем Жуковским Сергей Аксаков называл «долговременной и тяжелой историей неполного понимания» (Аксаков 1890, с. 43). В письмах к Пушкину Гоголь чрезвычайно осторожен, скромен и даже искателен, что естественно — дистанция между ними непреодолима. Она возникает не из-за того, что один уже на вершине своей славы, а другой только в начале пути. Гоголь осознавал принципиальное отличие своего дара от пушкинского, о чем и написал в седьмой главе *Мертвых душ*. Гораздо важнее была другая, биографическая, разница. Первые впечатления детства Пушкина — это: отец, декламирующий Мольера; беседы Николая Михайловича Карамзина, часто заглядывавшего в гости (в молодости он служил в одном полку с братьями Пушкиными); рассказы бабушки об Арапе Петра Великого и дяди Василия Львовича — о Париже Наполеона; Вольтер, прочитанный в восемь лет; наконец, Лицей! Семья Пушкиных не была образцовой или безмятежно счастливой, но в этом доме ребенок с рождения жил в потоке истории и культуры; широта интересов окружающих взрослых, отцовские книги на разных языках (в доме родителей Гоголя книг не было) открывали перед ним чудес-

ные перспективы, закладывали основы «всемирной отзывчивости». Этот духовный опыт сформировал личности Пушкина, Вяземского, Жуковского, позже — Толстого, Набокова и... многих других, кого невозможно представить методически «убивающими ящериц, выползавших на солнечные горные тропки»... Гоголь же предавался этому занятию с усердием (Набоков 1996, с. 35).

Какое впечатление хотел он произвести на Пушкина, рассказывая, что «самое забавное зрелище, которое ему пришлось видеть, это судорожные скачки кота по раскаленной крыше горящего дома» (Набоков 1996, с. 35)? Ответ Пушкина нам неизвестен, хотя, возможно, он был дан в *Дубровском*, в сцене спасения кошки:

Бедное животное жалким мяуканьем призывало на помощь. Мальчишки помирали со смеху, смотря на ее отчаяние. «Чему смеетесь, бесенята, — сказал им сердито кузнец. — Бога вы не боитесь: божия тварь погибает, а вы сдуру радуетесь», — и, поставя лестницу на загоревшуюся кровлю, он полез за кошкой. Она поняла его намерение и с видом торопливой благодарности уцепилась за его рукав (Пушкин 1964, т. 6, с. 255–256).

Этот ответ не оставлял места приятным заблуждениям, явно показывая Гоголю, насколько он чужд пушкинскому окружению, насколько по-иному в этой среде строятся отношения человека с миром.

В своих сочинениях Гоголь предложил типичные для романтической литературы образы животных: в фольклорных *Вечерах на хуторе близ Диканьки* это черные коты и собаки, неизменно оказывающиеся ведьмами (*Вечер накануне Ивана Купала*, *Майская ночь, или утопленница*); в более поздних произведениях животное являет собой пародию на человека и воспринимается не в своей данности (неинтересной для сосредоточенной на человеке культуры романтизма), а как средство сатиры, разоблачения людских пороков и амбиций (наиболее яркий пример — кот Мур Эрнста Теодора Амадея Гофмана, его русский аналог — Аристарх Фалалеич в повести Антония Погорельского *Лафертовская маковница*).

Так, в *Старосветских помещиках* лесные коты описываются как «удальцы», «народ мрачный, дикий», мяукающий «грубым, необработанным голосом», которому «вообще, никакие благородные чувства неизвестны». Они подманили кошечку Пульхерии Ивановны, «как отряд солдат подманивает глупую крестьянку» и та, набравшись от них «романтических правил, что бедность при любви лучше палат, а коты были голы как соколы», покидает хозяйку (Гоголь 1983, т. 2, с. 28). Переписка собак в *Записках сумасшедшего* еще более выразительный пример романтического антропоморфизма: Меджи, восхищающаяся

талией Трезора и сравнивающая своего избранника с «предметом» ее хозяйки Софии, камер-юнкером Тепловым, чрезвычайно забавна, но она, разумеется, не собака, а еще одна барышня (любой человек, когда-либо друживший с собаками, знает, что их сердечные увлечения возникают под влиянием иных, чем у людей, факторов). Только Ноздрев, ведущий себя на псарне, в окружении своих «густопсовых, чистопсовых, [...] муругих, [...] полво-пегих [...]» собак «совершенно как отец семейства», вопреки намерениям автора, приобретает симпатичные человеческие черты в глазах сегодняшнего читателя, потому что знакомит Чичикова с «крымской сукой, которая была уже слепая и [...] должна была скоро издохнуть, но года два тому назад была очень хорошая сука» (Гоголь 1975, с. 369). Чичиков, разумеется, видит в этом еще одно доказательство глупости Ноздрева, который целых два года кормит бесполезную тварь. Пульхерия Ивановна Товстогуб и Мария Ивановна Гоголь, бесспорно, согласились бы с ним.

Не согласился бы Байрон, всегда окруженный, как и Ноздрев, собачьей стаей: его бульдоги и ньюфаундленды странствует вслед за хозяином по Европе, в их обществе он находит успокоение. «Кто жил и мыслил, тот не может / В душе не презирать людей...», «Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю собак», «Тот, кто говорит, что счастье купить нельзя, никогда не покупал щенка» — вот очень приблизительный пунктир эволюции этой темы — «человек и животные» — в западной культуре, от просветительской мизантропии до «мы с тобой одной крови». На этом пути дети следующего, пост-байроновского поколения, учились справляться с несовершенством мира взрослых. Кеннет Грэм (Kenneth Grahame, 1859–1932), выросший без родителей, на попечении не щедрых на ласку благотворительных учреждений, в юности придумал историю *Дракон, который не хотел быть драконом* (*The Reluctant Dragon*) о добром и мудром реликтовом чудовище, с трудом спасающемся от кровожадных фермеров. Десять лет спустя он написал для своего сына книгу, ставшую одной из самых любимых англоязычных детских сказок, *Ветер в ивах* (*The Wind in the Willows*). В ней малыш Крот, уставший от весенней уборки, выбирается из норы и знакомится с мечтательным Водяным Крысом, скептическим Барсуком, легкомысленным Жабом — все они отправляются в плаванье вниз по Темзе, навстречу приключениям. Сказки Беатрикс Поттер (Beatrix Potter, 1866–1943) о кролике Питере, Вини Пух Алана Милна (Alan Alexander Milne, 1882–1956), отважные и забавные животные в книгах Льюиса Кэрролла и Редьярда Киплинга, наконец, Нарния, страна справедливых зверей, придуманная Клайвом Льюисом (Clive Staples Lewis, 1898–1963) — это детская литература, цель которой сделать ребенка

счастливым жителем прекрасного мира, научить его без страха вступать в отношения с братьями меньшими, чувствуя себя их другом, защитником, порою, учеником. В семьях викторианской интеллигенции, из которых вышли эти писатели, случались свои беды, приносившие страдания и взрослым, и детям. Мальчики приобретали тяжкий опыт выживания в brutальной обстановке закрытых привилегированных школ, но при этом они оставались хозяевами мира, в котором росли, который любили и за который отвечали. Они получали своего рода иммунитет от экзистенциального ада одиночества.

Такого иммунитета у Гоголя не было, он знал, что нечто «отделяет его от мира живых» (Терц 2001, с. 7), что он за что-то отмечен клеймом виновности, которое необходимо если не снять, то хотя бы осмыслить. Вот он и рассказал историю о кошке, пробуждая у читателя жалость к несчастному животному и «добровольно идя под огонь осуждения» (Терц 2001, с. 46). Возможно, так он надеялся понять, почему лишен способности любить кого-нибудь и что-нибудь? Почему с пафосом рассуждая о величии судьбы Малороссии и России в своих сочинениях, он не может жить ни на одной из этих «родин»? Почему многословно уверяя мать и сестер в своей привязанности, он уклоняется от встреч с ними? Почему в Святой земле, куда ехал в надежде возвыситься душой, увидел только дурную погоду и пыльную траву? Почему, гуляя по Форуму в Риме, он видит мраморные обломки античности, но не замечает непринужденно расположившихся на них новых хозяек этих мест — кошек? Трагическая разобщенность с радостью жизни, «грех душевной черствости», порой заставляли его задумываться — а может быть, и в самом деле, он одержим Чертом? И то детское преступление — первый знак этой одержимости?

В иные минуты он был склонен считать, что отмечен особой духовностью и раньше всех (любимые формулы Гоголя в последние годы жизни: «никто, более чем я...», «лучше всех я знаю...») понял, что мир превратился в склеп, царство исполинской скуки. Он «искал на земле только неба и не нашел ни неба, ни земли, а лиши то, что в вечной середине между небом и землей — серую холодную мглу, серый стынущий пепел христианства, которое 'не удалось', 'не выгорело'» (Мережковский 1906, с. 167–168). Гоголь так пылко отрицал земное, телесное, потому что боялся напора его живой силы. Ему легче было думать, что это мир умирает в апокалиптических судорогах, отданный «на разграбление» Чичиковым и Плюшкиным, чем признать, что он сам ушиблен и не видит живущих в своих имениях, на тех же самых просторах России, по которым колесит Чичиков, Лариных, Лаврецких, Набоковых. Смысл и дух их жизни был Гоголю недоступен, как по-

казала неудача со вторым томом *Мертвых душ*. Пятилетний мальчик, заподозривший в маленьком голодном зверьке агента нечистой силы и, вместо того, чтобы покормить, убивший его, стал взрослым, видящим только маски зла на человеческих лицах — есть отчего прийти в отчаяние и умереть «по собственному желанию»!

Литература

- С.Т. Аксаков: *История моего знакомства с Гоголем*. «Русский Архив» 1890, Т. 2 (особое приложение).
- В.В. Вересаев: *Гоголь в жизни: систематический свод подлинных свидетельств современников*. Ред. И.В. Петрова, И.Н. Чугунова. СПб: Лениздат 1995, 316 с. (Жизнь гениев; кн. 3, т. 3).
- Н.В. Гоголь: *Собрание сочинений: в 7-ми томах*. Т. 2. Ред. С.И. Машинский, М.Б. Храпченко. Москва: Современник 1983.
- Н.В. Гоголь: *Повести. Пьесы. Мертвые души*. Москва: Художественная литература 1975.
- И.П. Золотуский: *Гоголь*. Москва: Молодая гвардия 2009.
- Д.С. Мережковский: *Гоголь и чорт*. Москва: Скорпион 1906.
- В.В. Набоков: *Николай Гоголь (1809–1852)*. В кн.: В.В. Набоков: *Лекции по русской литературе*. Москва: Издательство Независимая газета 1996, с. 31–137.
- А.С. Пушкин: *Дубровский*. В кн.: А.С. Пушкин: *Полное собрание сочинений в 10-ти томах*. Т. 6. Москва: Наука 1964, с. 215–317.
- А. Терц: *В тени Гоголя*. Москва: Аграф 2001.
- В.Н. Топоров: *Кот*. В кн.: *Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х томах*. Т. 2. Москва: Советская энциклопедия 1992, с. 11.
- F. Crews: *The Pooh Perplex*. Chicago&London: University of Chicago Press 2003.
- B.L. Edwards: *Not a Tame Lion: Unveil Narnia Through the Eyes of Lucy, Peter, and Other Characters Created by C.S. Lewis*. Wheaton, Il.: Tyndale 2005.
- B. Hoff: *The Tao of Pooh*. New York: Penguin 1983.
- B. Hoff: *The Te of Piglet*. New York: Dutton Adult 1992.
- H. Loxton: *99 Lives. Cats in History, Legend, and Literature*. San Francisco: Chronicle Books 1998.
- A. Marks: *The Cat in History, Legend And Art*. Whitefish: Kessinger Pub Co. 2006.
- Puss in Books: An Anthology of Classic Literature on Cats*. Ред. Е. Drew. Verona, NJ: Read Books 2006.
- L. Ruffle: *Dogs and Cats as Central Characters in Memoir*. «Literary Culture», December 2008, с. 13–14.

Olga Skachkova

GOGOL AND CAT

Summary

Long before Fiodor Dostojewski Nikolai Gogol had been reflecting on the destructive effect of murder on the murderer's mind. As a child of five he killed a homeless cat and could not help thinking and speaking about that event further on. By this he should have tried to change the pattern of his destiny, to re-arrange his life, which started in rather barbarous surrounding ruled by primitive instincts and ignorant fears. He longed for another, humane and enlightened social environment in which an individual would live in the current of history and culture, willingly shouldering responsibility for the world's harmony, being aware that other living creatures could not be regarded as food supplies or enemies but as friends and teachers.

Olga Skaczkowa

GOGOL I KOT

Streszczenie

Na długo przed Dostojewskim Gogol rozmyślał o tym, jak zabójstwo wpływa na psychikę zabójcy. Opowiadając o przestępstwie dokonanym w wieku pięciu lat — o zabiciu kota — najpewniej usiłuje przeformułować paradygmat swoich relacji ze światem, wyjść z rzeczywistości ciemnego środowiska otaczającego go w dzieciństwie, rzeczywistości - rodziny, w której prymitywne instynkty sąsiadowały z lękami zrodzonymi przez niewiedzę, i przejść do rzeczywistości oświeconego Zachodu, gdzie człowiek żyje w strumieniu historii i kultury, dobrowolnie przyjmując odpowiedzialność za utrwalenie harmonii wszystkiego, co istnieje, w której zwierzęta są nie tylko pożywieniem lub wrogiem, lecz stają się też nauczycielami.